

И. Петрова (Богданова)

ДВЕ СЕМЬИ, ДВА ДОМА
НА КОРАБЕЛЬНОЙ СТОРОНЕ

Санкт-Петербург
2001

Ирина Петрова (Богданова).

Две семьи, два дома на Корабельной стороне

- СПб., 2001. - 40 с.

В книге И.И.Петровой (урожденной Богдановой), кандидата технических наук, специалиста в области материалов для электронной техники, родившейся и проводившей детство в Севастополе и имеющей глубокие севастопольские корни, представлены воспоминания о двух домах на Корабельной стороне Севастополя, дающие представление о жизни, обычаях и нравах городского окраинного населения Севастополя на протяжении нескольких десятилетий. Собственные воспоминания автора перемежаются с рукописными свидетельствами и обработанными устными рассказами матери автора А.Д.Богдановой (Коломенчук) и отца - И.Г.Богданова.

Издание осуществлено за счет средств автора.

Редактирование и компьютерная верстка —

Василий Петров.

Отзывы и предложения просьба направлять по адресам:

vnptr@mail.ru или iipetrova@narod.ru

© Петрова И.И., 2001

- Кто имеет право писать свои воспоминания?

- Всякий...

Всякая жизнь интересна: не личность — так среда, страна занимает, жизнь занимает...

А.И.Герцен.

Я пишу эти строки на основе собственных воспоминаний, а также рассказов и письменных свидетельств моей мамы, Антонины Даниловны Богдановой, родившейся, проведшей детство, юность и последние десятилетия своей жизни на Корабельной стороне Севастополя. Старейшая из окраин, которая родилась вместе с городом, была свидетельницей и участницей Оборона 1854-55 годов, революционных катаклизмов и Великой Отечественной войны. И все это происходило в сочетании с событиями повседневной жизни многих поколений севастопольцев. Героями моего повествования будут две семьи - Коломенчуков и Куприяновых, чьи судьбы тесно переплелись за многие десятилетия и стали частью моей жизни, моей судьбы. Я намеренно ничего не выбрасываю из копилки памяти, ничего не приукрашиваю. В этом, мне представляется, - главное достоинство повествования, его “пропуск” в жизнь, к читателю. Может, он лучше узнает прошлое своего окружения в этом малом и повседневном, из которого и строится жизнь обычных людей. Может, что-то окажется тут интересным и поучительным...

Дом на Николаевской (Карла Либкнехта, Николая Лунина)

Довоенные впечатления

Я родилась в январе 1932 года в Севастополе. Мои родители: мама, урожденная Коломенчук, и папа, Илья Григорьевич Богданов, жили тогда в самом центре города: на ул. Фрунзе (пр. Нахимова) в доме №11, который стоял напротив Института им. Сеченова. Работал папа экономистом (потом начальником отдела труда) на Судоремонтном заводе; начинал он там свою деятельность в 12 лет в 1905 году и любил свой завод самозабвенно. Среди многих гостей, у нас бывавших, самыми дорогими были две супружеские пары с Корабельной стороны, живущие в своем, доставшемся им от родителей доме на ул. Карла Либкнехта (ныне — Николая Лунина, до революции - Николаевской). Событием для родителей и для меня были дни, когда мы ездили к ним в гости. Мама говорила, что впервые я была принесена в их дом в трехмесячном возрасте (т.е. весной 1932 года). Я же помню эти посещения, вероятно, с четырехлетнего возраста...

Итак, мы идем в гости к тете Лизе, дяде Илюше Игнатьевым, дяде Аркаше и тете Жене Куприяновым на улице Карла Либкнехта. Я знаю, что дядя Аркаша (Аркадий Викторович) и тетя Лиза — родные брат и сестра. Детей у них нет, и меня они очень любят. Едем мы к ним на катере, что ходит по расписанию от городской пристани на Павловский мысок. Если приходим рано, стоим на пристани, смотрим на бутыльно-зеленую воду, качающуюся под нами в щелях между досками пристани; кажется, что она плывет... А вот вглубь бухты проплыл буксир, пыхтя и чуфыкая, проплыл мимо стоящих в Корабельной бухте плавучих кранов с вверх возносящейся стрелой. Наконец садимся в катер (обязательно надо глянуть в воду в щель между бортом и бревном причала (страшна и притягательна эта бездна). Катер широкий, как лохань,

с сидениями вдоль бортов, сверху накрыт брезентом. В хорошую погоду он приподнят, но и в плохую его можно отодвинуть и увидеть темную, дышащую воду. Очень заманчиво в эту воду что-нибудь бросить, пока катер стоит.

Мама вспоминала, что как-то зимой, я бросила в воду свою перчаточку. Папа выловил ее. Спустя некоторое время, когда катер отчалил, я бросила ее снова. Мне попеняли, я молчала. Однако едва увидела ожидающих нас хозяев дома, тут же с эмоциями выпалила “Красненькую печаточку в море бросила. Папочка подняй и больше подняй не”. Судя по лексике, это было не позднее конца 1934 года.

Но вот плывем, выходим на причале Павловского мыска, бросаем взгляд на далекий город и идем неприятным, кажущимся бесконечным, коридором с высоченными заборами, пока не выходим на пустынную Ластовую площадь. Отсюда уже недалеко до нужной нам улицы Карла Либкнехта, каменистой, бугристой, с канавкой для стока посередине, пыльной летом и грязной после дождя зимой. “Наш” дом имеет номер 17. Он — типичный для этих мест: одноэтажный с черепичной крышей, три окна смотрят на улицу, рядом — парадная дверь со ступеньками и калитка. На стук прежде всего реагирует шпиц Джимка. Он злой, поэтому его запирают в летней кухне, а потом впускают нас. Через калитку входим в узкий проход двора. В глубине — еще один дом с двумя оконцами, смотрящими во двор. Мы бываем поочередно гостями то тети Лизы в “большом доме”, то дяди Аркаши — в доме во дворе. Но сидим всегда все вместе, всемером. Мне очень нравится обстановка в обоих домах. У тети Лизы — красивый столик на изогнутых ножках с зеленым сукном, стоящий перед маленьким диванчиком, и граммофон с огромной трубой на комодe (однажды слушали). У дяди Аркаши — кресло-качалка, тоже огромное, и собака-черныльница в шапочке с козырьком, которую можно откидывать, на большом письменном столе. За гостевым столом сидеть тоже

интересно. Взрослые пьют вино, приготовленное Аркадием Викторовичем из растущего во дворе винограда, а мне наливают сок, который я пью из крохотной, любимой мною синенькой стеклянной кружечки. В перерыве рассматриваем старинные фотоальбомы с металлическими застежками или ходим в садик, где дядя Аркаша показывает нам то абрикосы, то заросли помидоров, выше меня ростом, источающих при соприкосновении резкий запах (взрослые, находясь над ними, так его не ощущали). Иногда к столу приходит сестра тети Жени тетя Луиза. Она живет в пристройке к дому во дворе. У нее сын Эдик, большой застенчивый мальчик, мать воспитала его в ненависти к девочкам, к которым нельзя подходить, потому что они “заразные”. Она плохо говорит по-русски, мне объясняют, что она — немка, что в Крыму живет много немцев. Так я узнаю, что и тетя Женя, Евгения Федоровна (Фридриховна) - немка.

При уходе я получаю что-нибудь вкусное “на дорожку”. Как-то раз они про то забыли, так я шепнула маме “А на дорожку?”

По рассказу мамы. Мне не более трех, плывем на катере. У мамы в руках яблоко, выданное “на дорожку”. Вдруг она машинально его надкусывает. Вся в слезах я повелительно требую “Прикрепи!” Видимо, яблоко дорого мне было как подарок, как красота, ведь я не была жадной и обычно делилась десертом.

Этого я не помню, но помню гулкий темный коридор при подходе к катеру, еще более бесконечный, чем днем. Торопимся, не то опоздаем на последний рейс, и тогда вся надежда на ялик. Как-то возвращались на ялике, и было очень интересно: приближающиеся огоньки города, красные и зеленые огни по бортам движущихся катеров с извивающимися змейками их отражений на глади черной воды, столбики желтых отражений от стоящих кораблей, а мы вроде как сидим в воде, только брызги с весел искрятся. Это не то, что в тускло освещенном закрытом катере, в котором я тут же

засыпала, и папе приходилось от пристани до дома нести меня на руках.

Через год-два мои горизонты при посещении “Карла Либкнехта” стали расширяться. Например, я узнала, когда и как произошло знакомство папы с Куприяновыми. Оказывается, мой папа, когда был мальчиком, вместе с отцом Григорием Терентьевичем приехал из Курской деревни на заработки в Севастополь. Они сняли жилье у Куприяновых, очень уж удобно расположение дома — близко от проходной завода. Его отец вскоре уехал, а папа работал на заводе нагревальщиком заклепок, а спал на сундуке в летней кухне. В другом углу на кровати спала мать тети Жени. Папа вспоминал о ней с признательностью: не говоря по-русски, она находила для него какие-то теплые слова, которые так нужны были ему, одинокому. Потом папа, став к этому времени табельщиком в цеху, несколько лет жил с сестрами в том помещении, где сейчас живет Луиза Федоровна. Папа приехал в Севастополь с двумя классами деревенской церковно-приходской школы. Здесь, на Корабельной, бегал в воскресную школу (об учительнице всегда вспоминал с благодарностью), старался сам учиться. Теперь он в отделе труда занимает более высокую должность, чем Аркадий Викторович, который там же работает.

В одну из поездок на Корабельную узнала я, что мама познакомилась с Куприяновыми совсем не тогда, когда в 1929-м стала папиной женой, а совсем маленькой девочкой. Дело в том, что ее старшая (на 12 лет) сестра Мария давно, еще до революции, была много месяцев невестой, а потом около года женой Аркадия Викторовича, так что мама ходила в этот дом с шестилетнего возраста. Молодой Аркадий был в те годы завидным женихом. Правда, он не был богат, но носил модную одежду, много читал, (в их доме много лет выписывали “Ниву” с литературными приложениями), увлекался учением Льва Толстого, из поэтов больше всего любил популярного тогда Надсона и сам писал стихи в том

же ключе (считал себя поэтом). Мария же была хороша собой (так говорили, и сохранившееся фото подтверждает) Увы, брак этот не был удачным, и в этом несколько причин. Во-первых, Аркадий Викторович поселился у жены, и его теща (моя бабушка, женщина, как потом окажется, вовсе не сильного характера) почему-то вмешивалась в их жизнь: настаивала на своем интерьере, даже на своем расположении предметов на его письменном столе (единственной вещи, которую он принес с собой, ибо был склонен к умственным занятиям). Но и у него, склонного к эгоцентризму (впрочем, для мужчин это вовсе обычная черта), не нашлось в сердце места для заботы о жене. Рассказали мне такой случай, с тех пор запомнившийся. Маня заболела, а Аркаша пошел прогуляться по Корабельной со своим другом Дусей (тот был “художником”). По пути купили Мане “фунтик” (бумажный конусообразный пакетик, чаще всего из книжных страниц изготавливаемый) ягод. Пока шли назад, все их съели и со смехом вручили большой пустую бумажку, чем глубоко ее обидели (ягоды и фрукты тогда покупали очень редко). В одну из таких прогулок Аркаша и Дуся зашли к фотографу. Снимок двух молодых, красивых, одухотворенных мужчин, верящих в себя, сохранился до наших дней. Увы, жизнь оказалась прозаичней, Дуся вообще умер совсем молодым. Брак распался, но мамыны контакты с семьей Куприяновых сохранились, а потом уж и перешли в новое качество.

Как-то, отдыхая от застолья, пошли мы все, гости и хозяйева, прогуляться в Ушакову балку, совсем рядом расположенную. Идем, а Аркадий Викторович вспоминает, что накануне гибели «Императрицы Марии» осенью 1916 года от бухты по улице шли крысы, шли сплошным потоком, от стенки до стенки, так что нельзя было калитку открыть, пока они не прошли: корабль стоял как раз напротив.

Уже недавно, изучая историю Севастополя, много прочла я о той трагедии 7 октября 1916 года. Когда на рассвете вдруг город потрясли взрывы — их было более

20 — на новом, только что отстроенном красавце дредноуте, гордости флота и его командующего адмирала А.В.Колчака, который в то утро вынужден был отдать приказ о его затоплении, ибо взрыв основного оружейного хранилища мог привести к гибели города и флота. Точная причина взрывов так и не была установлена.

А в балке, где мне очень нравятся и гористость, и тенистость больших деревьев, папа показывает места, где были Маевки, в которых он участвовал.

Эти “Маевки” меня очень занимают с тех пор, как прочитала в Путевом дневнике А.С. Грибоедова (1825 года), что уже тогда тут происходили “гуляния 1 мая”. Видимо, был какой-то старинный праздник, в который были приняты пикники, вот этим революционеры и пользовались, они ведь, судя по описаниям, тоже собирались кучками с гармошкой и самоваром.

Но вот вечер, мы уходим. Спускаемся до улицы Ластовой, где проходит граница Аполлоновой балки. Тут папа вспоминает, что, приехав в Севастополь весной 1905-го и поселившись у Куприяновых, он осенью был свидетелем трагедии “Очакова”:

- Я бегал в Аполлонку смотреть; корабль горит, матросы плывут, а на берегу солдаты их расстреливают, спихивают в воду. Больше это было у Приморского, но и сюда плыли...

В 1938 году только и было разговоров по радио, что о папанинцах. Провожавший нас Аркадий Викторович, показывая вниз, говорит, что там, внизу была хибарка Папаниных. В его голосе слышу удивление: “Скажите, такой был хулиган, и вот...” Оказывается Папанин и окружавшие его семьи были совсем бедные. Их дети почти не учились (только два класса церковно-приходской школы), они завидовали детям ремесленников с собственно Корабельной, которые учились в городских училищах

и гимназиях, подстерегали, когда те возвращались, и забрасывали камнями (“боролись с буржуазией”: еще бы, ходят в ботинках, в форменной одежде!). Аркадий окончил самое престижное на Корабельной Алексеевское городское училище, которое располагалось вблизи храма А.Невского; на углу улиц А.Невского и Алексеевской (Перекопской), теперь на этом месте — общежитие.

Особое это место - Аполлонка с маленькими белеными домиками, узкими улочками. Эти несколько десятков домов описаны многими: А.Грином (“Порт Лисс”), К.Паустовским (“Черное море”), М.Роциным (“Осень у Шатуновых”), Г.Черкашиным (“Возвращение”). Она еще из последних сил сохраняет свою индивидуальность, но новая “архитектура” уже безжалостно сметает всё на своем пути, а ведь это могла бы такая “Злата улочка” типа Пражской (и приносила бы золото в казну реальное).

А вот и Ластовая площадь. Тут уж все вспоминают как в 1913 году здесь была построена часовня (в честь 300-летия Дома Романовых), царь приезжал. Тут потом вечерами горело электричество и было весело: молодежь собиралась (в домах электричества не было). Далее — мостик через железную дорогу, за ним церковь (Митрофаньевская). Про мостик и вовсе чудеса рассказывают. Здесь, оказывается, раньше шла торговля семечками, ягодами, сладями в “фунтиках”. “Только на мостике”, - уточняет мама.

Последние несколько лет я думала: почему только на мостике? Даю такое объяснение: земля вокруг, возможно, принадлежала церкви и потому торговать на ней нельзя было. А вот ров, где проходила железная дорога, и мост над путями видимо принадлежали городу, значит на нем можно торговать. А место роскошное — путь с катера, с госпиталя, прихожане идут после службы, молодежь вечерами гуляет...

Но мы идем по мостику без “купцов”, проходим полуразрушенную церковь (мама говорит, что здесь в хоре пела, она петь очень любила) и входим в уже описанный мною узкий проход. Тут мама говорит неожиданно: “В голод тут много мертвых лежало, в 21-м и 33-м, почему-то в основном татары”.

У Паустовского в повести “Черное море” в главе “Мертвый город” тоже можно прочесть о таких “татарах” в Севастополе. Еще страшнее о голоде татар в Крыму - в “Солнце мертвых” И.Шмелева, да и строки Мандельштама о “голодном Старом Крыме” потрясают... Вот и аукнулась в Великую отечественную эта трагедия, которой и ныне, увы, не дают объективной оценки!

В 1937-м исчезла из дома на К.Либкнехта Луиза Федоровна и ее сын Эдик. Этот несчастный юноша работал после окончания школы на том же заводе. Потом рассказывали, что во время “перекура” в ответ на чьи-то слова типа “наши корабли — самые лучшие”, он сказал, что в библиотеке прочитал (тогда выписывали немецкие журналы) о новых немецких кораблях, которые не хуже. Его тут же арестовали, а потом расстреляли как немецкого шпиона, а мать выслали, и она долго нищенствовала на севере. Куприяновы регулярно ей помогали, хотя сами были бедны и все время находились под дамокловым мечом высылки. Все были тихими какими-то в ту пору. Зато как громко, как радостно обсуждалось потом снятие Ежова, который все делал не так, пока товарищ Сталин не узнал и не вмешался, слышалось всюду выражение “ежовы рукавицы”, верили, что теперь все будет хорошо и правильно (впрочем, теперь я подозреваю, что Аркадий Викторович, человек думающий, осторожный, склонный к анализу, не очень верил).

Уже тогда я почувствовала, что в обоих семьях много общего, но много и разного. Сходным было то, что у них не было детей и что женщины не работали (это было обычным для замужних в те годы). Обе жены много времени уделяли

приготовлению пищи (готовили на примусе каждый день, ведь холодильников не было), считались болезненными, поэтому на тяжелую работу: большую стирку и мытье полов приглашали “простых” женщин, в саду не работали (страстным садоводом был Аркадий Викторович). В свободное время обе вышивали и вязали предметы уюта. Но тетя Лиза была свободнее в своих действиях, лучше одевалась. Когда приходили к нам в гости, игрушку мне дарил дядя Илюша. И дело было не в том, что Илья Фомич, работавший механиком, больше зарабатывал, а в характере кормильцев. Куприяновым была свойственна постоянная экономность и строгий учет. Все расходы и покупки записывались, и за всё купленное тетя Женя вечерами отчитывалась. Жили очень скромно, обязательно копили “на черный день”.

Где-то в это время узнала я о семейных трагедиях. Оказывается, тетя Женя была родственницей дяде Аркаше, знала и любила его с детства. Когда он развелся с Марией, то женился на Евгении, чтобы иметь послушную жену, но не любил ее. У них родилась девочка, но вскоре умерла. Врачи не советовали им заводить детей, говоря, что ребенок может родиться слепым (теперь мне кажется, что их вполне бездетный вариант устраивал, особенно Аркадия: ведь вся забота доставалась ему, а он был болезненный, всегда ходил с завязанным горлом, пил только воду определенной температуры, никуда не выезжал).

А тетя Лиза уже после революции вышла замуж за Илью Фомича Игнатьева, хорошего человека, вдовца из Петрограда. Куприяновы считали его “не парой”: он был рабочим (электромехаником, как я потом уж узнала), а они — “образованные” (Евгения в Симферополе гимназию кончила и до замужества работала в библиотеке), хотя тетя Лиза сама мало училась. Оказывается, когда она была младенцем, ей, чтобы она не плакала, давали сосать тряпочку, в которую был завернут мак. Она засыпала, никому не мешала, но это сказалось на ее умственных способностях. У нее тоже был ребенок — мальчик, но роды были

неудачными, с заражением. Она была в больнице при смерти, а ребенка сразу отдали домой. Однако хозяйка дома, Куприянова Надежда Ивановна, мать Аркадия и Елизаветы, запретила сыну и невестке подходить к младенцу, говоря, что мужчинам — не место на земле. И что самое ужасное, уже тогда меня поразившее, - они ее послушались! А Илья Фомич в годы безработицы не мог не ходить на работу, ведь на его руках была еще девочка-подросток от первого брака. (слова “безработица” и “опухшие с голоду” — укоренились в моем сознании “с пеленок”; велико было потрясение 20-х, начала 30-х. Может поэтому, мне ныне кажется, народ потом закрыл глаза на все репрессии - ведь он получил в городах стабильный кусок хлеба; видимо, и фашистской Германии происходило в сознании обывателя нечто сходное). Покричав несколько дней, ребенок умер от голода (потом выяснилось, что этой же улице жила недавно родившая женщина, у которой грудного молока было в избытке, но Куприяновы не с кем не общались, очень уж гордились своей “интеллигентностью”).

В лето 1940 года на К.Либкнехта приехали из Москвы гости: муж (немолодой), жена (молодая) и двое их детей: старший Александр, чуть меня моложе, и еще на руках - Татьяна. Так я узнала, что у тети Лизы и дяди Аркаши есть старший брат Александр, работающий бухгалтером в каком-то высоком учреждении. Когда мы пришли на встречу с ними, его лошадиное лицо сразу мне не понравилось, а потом я узнала, что он скуп и жаден. Жена (третья или четвертая) ежевечерне отчитывалась перед ним за каждую копейку (буквально), причем продукты покупала из расчета на день, чтобы легче было вести учет (в этом я убедилась в 1950-м, когда студенткой однажды у них должна была заночевать).

Откуда все эти особенности характеров, эти странности, отравлявшие жизнь обитателям дома? Тут в самый раз обратиться к маминим записям о том, как жил этот дом, этот двор с момента своего возникновения.

Рассказ А. Д. Богдановой о доме на Николаевской

Первым владельцем участка по Николаевской улице был Виктор Куприянов, кузнец, который обосновался здесь после Крымской войны. Он владел нынешней территорией дома 17 и соседней, где теперь дом 15. Был построен дом внутри участка и летняя кухня, а севернее (на участке дома 15) была кузница и место для лошадей и экипажей. Он был женат на Надежде Ивановне, полунемке, ее мать звали Магдалина Филипповна. У них было трое детей: Александр, Аркадий (р. 1895) и Елизавета (р. 1896). Когда он умер, (где-то около 1910-го года), семья осталась без средств к существованию. Был продан участок, где кузница, но денег хватило не надолго. Выручила их тетя Александра. Она была красивая, артистка. В нее влюбился богатый спиртозаводчик Сумской губернии и женился на ней. Она присылала ежемесячно деньги, а в 1912 году дала деньги на постройку нового дома, который выходит на улицу. Евгения, жена Аркадия Викторовича, приходилась Надежде Ивановне двоюродной сестрой: ее отец Фридрих и Магдалина Филипповна были родными братом и сестрой. После революции помощь тети прекратилась: завод ее мужа был разгромлен, они бежали, все бросив, куда-то в деревню, так что потом уже Куприяновы посылали ей какие-то деньги на житье. Жили в ту пору трудно. Аркадий проявил хозяйственность: завел кур, кроликов, даже козу, которую сам кормил и доил. Женщины считали, что подобная крестьянская работа их унижает. Много было предрассудков тогда. Тогда же Аркадий увлекся садоводством и, что тогда тоже было внове. А потом Надежду Ивановну поразил паралич. За ней поначалу ухаживали Елизавета с мужем Ильей Фомичем, но она была очень тяжелым, капризным человеком, так что, когда дочь сама заболела, пришлось нанимать сиделку. Тогда они (Аркадий и Елизавета) потребовали от старшего брата, который жил уже тогда в Москве, чтобы он помогал деньгами (до этого он этого не делал). Посылал он деньги неохотно, так

был очень скуп. Однажды мать запросила лимон, которого в Севастополе было не купить. Он прислал лимон, но при очередной посылке денег, учел этот расход. Мать так обиделась, что лишила его наследства, и дом завещала только двум детям. Но она тоже поступила ужасно по отношению к своей дочери: когда у той родился сын, запретила сыну и невестке за ним, только рожденным единственным внуком, присматривать (Лиза в родовой горячке была в госпитале), говоря, что мужчинам нет места на земле, что она их ненавидит. Я не знаю, кто — отец или муж вызвал у нее такую ненависть. Но такая черта как расчетливость до скупости была характерна и для Аркадия, и для Евгении, так что это качество, возможно, восходит к общему предку Филиппу. В общем, этот дом видел и печальные события.

Война, после войны.

В начале войны Куприяновы были высланы на Северный Кавказ (немка!) на ст. Дивное (в Ставрополе, как в место от войны далекое, высылали из Севастополя “подозрительных”). А Игнатьевы оставались в городе. Илья Фомич до последнего дня обороны работал на заводе. Наша семья, эвакуировавшись вместе с частью завода в конце ноября 41-го в Туапсе, зиму и весну 42-го вела с обеими семьями переписку. В частности, папа прилагал усилия к тому, чтобы Аркадию с Женей разрешили приехать в Туапсе и работать на прежней должности. Но летом 42-го немцы захватили Северный Кавказ, в том числе ст. Дивное, и разрешили Куприяновым вернуться в Севастополь.

Корабельная в дни штурма Севастополя подвергалась обстрелу, в частности, попал снаряд и в старый дом, проломив крышу и потолок, так что во время оккупации все жили в большом доме. Илья Фомич, когда пришли немцы (летом 1942-го) зарыл в саду свой партбилет и добывал пропитание случайными заработками. Вернувшийся Аркадий почти все время болел (в частности, открылся туберкулез, который был у него в молодости).

На работу переводчицей в какое-то учреждение типа районной администрации пошла тетя Женья. Жили также продажей вещичек: старого фарфора, серебра. Через два года, при отступлении, немцы всю прибрежную часть Корабельной оцепили и цепью пошли сметать всех на стоявшие внизу корабли и баржи (из других районов формировались колонны, которых угоняли пешком). Так были угнаны в Германию Игнатьевы. Аркадий в это время лежал с огромной язвой на спине, которая немцев утратила, а тетя Женья, когда ей предложили уехать одной, приняла дозу яда...

Вскоре после освобождения Севастополя, наша семья, находившаяся тогда в Батуми, установила связь с Куприяновыми. Мы уже знали, что наш дом на Фрунзе полностью разрушен, поэтому с признательностью приняли приглашение Куприяновых поселиться у них по возвращении. Вернулись мы в ноябре 1945-го. Причалили на Угольную пристань ночью. Но так хотелось в "родной" дом, что пошли в темноте и уже через десять-пятнадцать минут стучали в знакомую калитку.

Жить было тесно. Нам отвели полкомнатки, так что я спала на кухонном столике, привезенном из Батуми; он служил и письменным, и обеденным. Уже через несколько дней пошла в школу №28 (потом — №16), что на Лазаревской, обрела попутчиц-одноклассниц Иру Жукову и Нелю Голубкову. Папа работал на заводе и помог восстановиться на работу Аркадию Викторовичу. Тетя Женья, как работавшая при немцах, страдала от комплекса вины, не выходила за калитку и все время ждала высылки (недавно в их бумагах я отыскала черновики писем Калинину, в которых они просили их не высылать, ссылаясь на заслуги отцов, участников Первой обороны Севастополя).

В один из глухих зимних вечеров (электричества еще не было, освещались привезенной из Батуми карбидной лампой) прямо в дверь комнаты раздался стук, а вслед за тем в приоткрывшейся щели раздался голос Ильи Фомича: "Впустите?". Ведь тогда этих

несчастных ставили на одну доску с предателями (по тогдашнему сталинскому понятию им надо было умирать, но не уезжать). Представляю, с каким чувством, пробыв три года в батраках на немецкой ферме, где их кормили одной вареной брюквой, они ехали домой, с какой болью, с каким унижением... Помню немую сцену, длившуюся, к счастью, мгновение. Аркадий Викторович и Евгения Федоровна застыли (как реагировать, чтоб не сочли “пособниками”, не было ведь ни к кому человеческого доверия, тем более, что папа — партийный), папа... (не знаю, не смотрела в его сторону). Важно, что первой нашлась мама, кинувшаяся им навстречу со словами типа “ну, конечно!”, обнявшая, втащившая их в комнату с их жалкими пожитками... Потом папа помог Илье Фомичу восстановиться на работе и даже в партии, но пережитого унижения душа того не вынесла. Он умер в 1948-м от рака желудка. Деятельная моя мама постаралась, чтобы похороны были достойные: пешая процессия от дома с оркестром с Венком во главе процессии (я и еще кто-то несли его) прошла на кладбище, что вблизи места гибели В.Истомина за Малаховым курганом Там уж была готова могила рядом с его тещей Надеждой Ивановной.

Мы же два года жили в отремонтированном по просьбе папы силами завода в двух комнатках флигеля (старого дома) с окошками в сад. Что запомнилось из тамошнего проживания? Пожалуй, главное — огромное количество mosquitos (они расплодился в развалинах при немцах). Все углы в комнатах были от них темными, Чтобы их выкурить из жилья, продавались особые таблетки, которые разжигали. Но... уже и не продохнуть, а они сидят. Папа очень страдал, уходил на работу совсем измученный после бессонной жаркой ночи. Из положительных воспоминаний самое яркое — коллективное (втроем) чтение пьес Мольера из старых приложений к “Ниве”. До чего же весело смеялись! Больше такого не было. В мертвый город почти не ездили, с “культурой” общались лишь посредством летнего

кинотеатра, оборудованного на Корабельной улице (между Ластовой пл. и Рабочей ул.). Счастьем было ходить втроем. Однажды занесло туда какую-то “оперную труппу”, представившую отрывки из “Евгения Онегина”. Так состоялось первое мое знакомство с оперой. Впрочем, красно-рыжие парики Ленского и мсье Трике так раздражали, что музыка плохо воспринималась. Наши же хозяева никуда не ходили. В один из редких выходных во время прогулки по Рабочей, папа рассказал, что именно со здешней аптекой связано изменение его облика. Теперь редко встречаются люди с веснушками, а тогда весной они проступали у многих, особенно у детей. У некоторых этот пигмент держался весь год, причем не только на лице. Таких называли — конопатый. Конопатым приехал в Севастополь и мой отец. Когда ему исполнилось 18, он влюбился в красивую и образованную девушку, служившую в заводской конторе, но даже подойти к ней не решался. И тогда он попросил дочь провизора аптеки на Ополченской (Рабочей) дать ему снадобье, чтобы очистить кожу. Она дала ему баночку мази, предупредив, что воспользоваться ею нужно в субботу после работы. Он так и сделал. Наутро в воскресенье его лицо представляло собой вздувшуюся красную подушку. Еще через сутки отек спал, старая кожа за несколько дней слезла, а новая была белой и чистой. Таким я и помню своего отца. И хотя успеху той первой любви мазь не поспособствовала, папа с признательностью вспоминал добрую и симпатичную девушку из аптеки.

...Тетя Лиза пережила своего мужа на семнадцать лет, Жила на крохотную пенсию, но была гостеприимна. Так, я у нее гостила целый месяц в 1952 году, когда мы с мамой, после смерти папы 30 декабря 1950 года, переехали на постоянное проживание в Ленинград. Главной заботой обоих семейств было “питание”. Готовили жирно (на сливочном масле), женщины ели много, а двигались мало. Полнота и склероз старили их не по возрасту, но от своих “убеждений” они не отказывались. Летом 1964 года

принимала Елизавета брата Александра с женой. Видимо, переутомилась, и ночью с ней случился “удар”. Отнялась левая половина. Приехавшая Скорая посоветовала поставить на бедро грелку. Брат с невесткой, налив в грелку кипяток, приложили к больной. На утро выяснилось, что кожу они сожгли, еще через сутки стало ясно, что лишённая нормального кровотока эта кожа начала разлагаться. Москвичи спешно уехали домой, а моей маме Аркадий Викторович послал телеграмму с просьбой приехать и ухаживать за сестрой. Она умерла от гангрены через полгода в страшных муках. Мама почти все время проводила с ней, хотя запах в палате был ужасный. Готовила ей домашнюю еду, чтобы порадовать. Куприяновы ни разу ее не навестили, объясняя это тем, что любят ее и поэтому очень разволнуются. Москвичи же периодически присылали маме телеграммы типа: “Позвони, как состояние больной” (зная о том, что близко переговорного пункта не было, а домашнего телефона нет по сию пору). Похоронила мама тетю Лизу на городском кладбище, где похоронены мамы родители и брат с сестрой (той самой Марией), где за 15 лет до того похоронила она моего отца.

Дом тетя Лиза завещала брату с устной просьбой при его смерти половину дома завещать моей маме. Немного отдохнув, мама вновь была востребована: тетя Женя слегла. Склероз и всё ему сопутствующее свели ее в могилу в 1967 году. До последних дней главной радостью была еда. Похоронили ее рядом с тетей Лизой (по иронии судьбы - в могилу Марии, к которой она всю жизнь потихоньку мужа ревновала). Теперь мы ежегодно приходим к ним...

Оставшись один, Аркадий Викторович попросил маму стать его экономкой, хозяйкой. В этом качестве она проживала в этом доме семь лет, каждые четыре месяца приезжая в Ленинград (иначе отобрали бы ее комнатку в коммунальной квартире, которую мы с мамой выменяли на нашу большую севастопольскую комнату у пл.

Ушакова, полученную в 1948 году). Я думаю, это были счастливые годы Аркадия Викторовича. Когда позволяло здоровье, они гуляли по Корабельной, на Приморском, он возился в саду, читал.

После смерти Аркадия Викторовича в 1974 году мама стала владелицей большого дома (мальч, по просьбе Аркадия Викторовича, был продан и деньги отданы сыну Александра - брат в ту пору уже умер). К этому времени стал совершеннолетним наш сын Василий, его прописали в ее ленинградской комнатке, а она стала жительницей Севастополя (в Ленинград приезжала зимой как гостя-помощница, выхаживала правнуков). Ежедневно много лет ходила на море (прежние хозяева вообще в воду не входили.), возилась в саду, принимала гостей. Она постаралась внести лишь минимальные изменения в интерьер дома, так что он хранит в себе историю, дух ушедшего, и прежние владельцы со стен смотрят на "младую жизнь", врывающуюся сюда... Сначала я приезжала сюда с мужем, потом — с сыном (или втроем), потом стали привозить сюда ее правнуков, так что иногда и пятеро наезжало.

Мама скончалась в этом доме в феврале 2000-го. За год перед тем она наладила контакт с Музеем героической обороны и освобождения Севастополя в лице старшего научного сотрудника И.К.Спиридоновой, душевного человека и энтузиаста своего дела, и передала туда часть фотографий и предметов быта, в частности, ту собачку-чернильницу с поднимающейся шапочкой. Она хотела, чтобы дом и дальше служил нашей семье, ведь именно здесь как бы продолжается жизнь всех ушедших, с кем связано и мое прошлое. Теперь этот дом принадлежит мне.

Дом на Чергиговской (Розы Люксембург)

Ранние воспоминания

Иногда мы к Куприяновым ездили на трамвае (с двумя пересадками: на нынешней пл. Суворова и на вокзале). Выходим на ул. Рабочей (далее — трамвайный тупик). Мама показывает мне три дома на ул. Розы Люксембург, бывшей Черниговской (один из них — угловой с ул. Рабочей), и рассказывает, что это дома, который построил ее дедушка себе и двум дочерям: Софье и Надежде. В 17 лет Софья Ивановна, моя бабушка, вышла замуж за моего дедушку Данилу Максимовича Коломенчука. Здесь моя мама родилась и провела детство. А папа добавляет, что именно здесь впервые под столом увидел свою будущую жену, так как был хорошо знаком с ее братом Николаем и, когда за чем-то пришел в их дом, очень удивился, увидав такую маленькую девочку, при том, что родители пожилые (это было, вероятно, в 1910-м). А мама продолжает вспоминать свое детство. Оно делилось на две части: до смерти папы и после. До смерти — в доме жили экономно, но еда была. Соблюдали посты, в праздники устраивали праздничные столы. Особенно нравилась Троица, когда в дом вносили свежее сено, интересно было находить и съесть какие-то семена - вкусные лепешечки-рогалики. В эти дни много ели мяса. Перед Пасхой много расходовалось яичных желтков. Белкам не находили применения, ими намазывали пол, чтоб блестел. Вспоминала, как любила расчесывать папину бороду, развязывать узелочки веревочки от сахарной головы. Игрушек не было, всю одежду детям мама шила сама на швейной машине, доставшейся ей в приданое. Когда у моей маленькой мамы болели зубки, к врачу не водили, и она так мучилась, что билась головой о стенку. Тут я узнала, что мама была 19-я, но почти все умирали в возрасте от одного года до восьми лет. А мамина сестра Аня осталась живой,

но дважды очень болела: в 8 лет менингитом, так что потом с помощью моей мамы, которая была на шесть лет моложе, заново училась говорить, а в 16 лет — гнойным туберкулезом брюшины. Свою тетю Аню я знаю хорошо, она приходит к нам ежедневно, одинокая, часто болеющая, не умеющая наладить свой быт. Показывает мама и на соседний по Р. Люксембург дом, где жила дружная семья Калашниковых. У них тоже было три дочери, мама дружила со всеми, но особенно со своей ровесницей Зиной, которая к нам на Фрунзе приходит (дружба семейств продолжалась и продолжается всю жизнь).

Мама родилась 14(27) июня 1907 года в день св. Секлетикии. Но окрестили ее Антониной по предыдущему дню. Когда подошло время учиться, оказалось, что на Корабельной нет школ для девочек. Она ходила в город. Шла пешком, для сокращения пути пользовалась понтонным мостом (там, где теперь подлодки). Мост часто разводили, надо было ждать и мерзнуть на холодном ветру. Однажды она отморозила руки так, что потом у нее много лет зимой на руках появлялись язвы. Годы учебы совпали с Гражданской войной, поэтому менялась не только власть, менялся календарь и правописание. То с буквами ять и фита, то без них, то вновь с ними. Потом учебу пришлось вовсе бросить: не в чем было ходить в школу и надо было ходить за дровами (ходили на Инкерманские горы). А в 1923-м году старшая сестра Мария продала дом за долги, которые у нее образовались от разгульной жизни (теперь, читая материалы о Крыме тех лет, я знаю, что этому “пиру во время чумы”, этому принципу “одного дня” в месяцы “врангелевского сидения”, а потом НЭПа поддались тогда многие). Моей шестнадцатилетней маме пришлось с этого времени самой зарабатывать на жизнь шитьем, ютясь в той самой комнатухе на Чесменской (Советской) улице, где и ныне (т.е. в 30-е, довоенные годы) моя тетя Аня живет. Однажды, когда мы ожидали катер, мама увидела на сваях мидии и вспомнила, что в 1921 году, когда

было очень голодно, даже рыбы не было, потому что не было яликов, чтобы выйти в море (на них тоже уплывали врангелевцы), они с сестрой собирали мидии. Мама, Софья Ивановна, обдавала их кипятком, они раскрывались, и из них с рисом варили плов.

(Недавно наткнулась на стихотворение “Крым” поэта И.Сельвинского, который родом из Евпатории, и там есть строки об этом времени и этом плове:

Море, море! Крымское море!

Юности моей зов...

Здесь мать, бывало, в тоскливом изморе

Ждала видения парусов;

Здесь мои сестры под утренним бризом

С купаленных свай обдирали улов

И дома с лавровым листом и рисом

Из мидий варили плов...

А рис этот был поставлен американской благотворительной организацией АРА).

Таковы были мои первые впечатления от этого ныне пустующего перед магазином “Корабельный” места. Моя мама, до конца дней своих сохранившая прекрасную память, оставила отдельные листки воспоминаний. Кроме того, она много рассказывала мне о своих родных. Отчетливо звучит в ушах ее голос, помню ее обороты речи и интонации... Попробую их “причесать”, поведаю рассказ от ее имени..

Рассказ А. Д. Богдановой о своей семье

До революции.

Дом на углу улиц Черниговской (Р.Люксембург) и Ополченской (Рабочей) принадлежал моему деду Ивану Сергеевичу Борисову. Построен он был в конце 70-х или в начале 80-х годов XIX века. Мой дедушка был железнодорожным мастерским. Родом он был из Рязанщины, рано остался сиротой. Когда началось

строительство железных дорог в России, то представители подрядчиков стали в деревнях отыскивать сирот для работ, связанных с кочевым образом жизни. В число таких рабочих попал мой дедушка. Вместе с железнодорожным полотном он двигался на юг. Ко времени подхода дороги к Севастополю он был уже женат и имел двух маленьких дочек. По окончании строительства дороги он осел в Севастополе, работал в железнодорожных мастерских и обосновался на Корабельной. Сначала построил себе дом (угловой), а потом по-соседству и дочкам, чтобы они “по чужим углам не мыкались”. Но вот учить дочек не стал, говоря, что мальчиков учил бы, а девочки все равно выйдут замуж. В последние годы он держал при доме небольшую лавочку, для хранения товара был вырыт подвал с ходом с улицы. Умер он, видимо, в конце 80-х или начале 90-х годов, был похоронен на кладбище в Доковом овраге.

После его смерти бабушка Варвара, его вдова, продолжала держать лавочку. К этому времени дочери вышли замуж. Надежда была выдана замуж за человека с очень тяжелым характером, она родила сына Кузьму и умерла через несколько лет после того от чахотки. Бабушка Варвара была женщиной волевой, но смерть дочери ее сломила, и она тоже вскоре умерла. Муж Надежды так издевался над сыном, что его лишили родительских прав, опекуном назначили моего отца. Кузьма жил в нашей семье, кончил учительскую семинарию, но у него тоже оказался тяжелый, скупой нрав. Во времена Врангеля он преподавал в Кадетском корпусе в Голландии, вместе с корпусом уплыл осенью 1920-го. Больше о нем ничего неизвестно.

Моя мама Софья Ивановна вышла замуж в 1880 году, когда ей не было еще 17-ти. Вскоре родился первенец, но жил недолго. Она была верующей, поэтому не так уж убивалась, ибо верила, что младенцы становятся ангелами. Дети появлялись почти каждый год, но умирали где-то в возрасте 1-3х лет (одна девочка умерла восьмилетней). На крестины, а потом похороны и поминки

уходила большая доля доходов. До взрослого состояния дожили четверо: Николай, Мария, Анна и я, Антонина. Я была последней, 19-й. Маме уже шел 44-й, и я была лишней, хотя потом меня любили. Мне выпало помогать матери в последние годы жизни (она умерла в январе 1932-го) и похоронить ее рядом с мужем. Перед своей смертью мама призналась мне, что, когда я заболела, то она положила меня под образа и накрыла черненьким. Но я выжила! Более того, прожила долгую жизнь. Но боль в душе от этого признания сохранилась до сих пор. К этому времени я уже более двух лет была женой Ильи Григорьевича Богданова и жила в центре города. Мама от того и умерла, что помогала мне, ожидающей ребенка, белье на балконе развешивать. Схватила воспаление легких, а ведь голод был и лекарств не было...

Теперь пришло время рассказать о моем отце — Данииле (Даниле) Максимовиче Коломенчуке. Он родился в 1850 году в крестьянской семье в Екатеринославской губернии (Днепропетровской области). Когда пришло время идти в армию, то на призывном пункте его определили на флот. Дали в руки какую-то бумагу и велели самостоятельно отправляться в Николаев. Денег у него не было, поэтому он вернулся в деревню, взял новые лапти и пошел в Николаев пешком. По его словам, он был неграмотным, но потом офицер, у которого он служил, обучил его грамоте и арифметике (возможно, что он был у кого-то в вестовых, так как отличался аккуратностью и честностью — *И.П.*). У него был “Георгиевский крест”. Я не знаю, за что он его получил, возможно, за участие в войне 1877-1878 годов. Настоящая его фамилия была Клеменчук. Но писарь, когда писал ему направление, написал Коломенчук и исправлять не пожелал. К сожалению, фамилия просуществовала всего четыре поколения, и продолжения не имеет. Его мать умерла молодой, а вот отец был долгожителем (может, я в него?).

Когда я родилась, ему было 56 лет, значит, он пришел в дом на Черниговской, когда ему было тридцать лет. Потом он

служил в интендантских частях Морского ведомства. Был он очень обстоятельный и аккуратный человек. В дождливые дни тогда поверх ботинок и сапог надевали галоши. Он их всегда мыл не только возвратившись, но и перед выходом. Как-то мама сказала ему: “Чего намываешь, грязь ведь на улице”. На что он ответил: “Что ж, раз грязь, так я должен в немых галошах на крыльце показаться!”. Мне пришлось с ним прожить всего девять лет. Помню, как забиралась к нему на колени и заплетала в косички его длинную седую бороду, которую он расчесывал надвое. И еще помню, как однажды сказала ему, что видела у дочери его помощника плюшевое пальто, девочка сказала, что плюш папа принес, мне бы тоже такое хотелось”. Он тогда сказал: “Я ничего казенного никогда не вынесу, зато ни на меня, ни на тебя никто, никогда пальцем не покажет”. Он в это время уже несколько лет заведовал всеми складами Морского ведомства. В 55 лет вышел в отставку в чине надворного советника. Помню, мне это звание не нравилось: что-то вроде дворника.

О том, что отец пользовался подлинным уважением, сохранилось в семье несколько свидетельств. В дни восстания 1905 года многие офицеры были убиты (ненависть к ним со стороны матросов, увы, была оправданной). Я сама, научившись читать, видела табличку у входа на Приморский: “С собаками и матросам вход воспрещен”. Видела, как получали матросы кулаком в лицо, если честь офицеру не отдали). Как-то в те дни отец возвращался домой уже в темноте. Навстречу несколько матросов. Один кинулся к нему, но другие остановили: “Не трогай, это хороший старик”. А вот другой случай того же времени. В то время, когда отец раздавал зарплату (жалованье, как тогда говорили), начался обстрел склада, где это происходило. Деньги были разложены. Отец сказал: “Рассовывайте по карманам и пошли ко мне домой”. Когда пришли, выложили, сосчитали, недоставало одного полтинника, видимо, оброненного. Так его уважали. С мамой они жили дружно,

хотя и мрачные моменты были. Я всегда видела отца трезвым, но потом мама рассказала мне, что в первые годы у него бывали запои, от которых он избавился неожиданно. Как-то приехали дальние родственники, а он спит пьяный. Приехавшая женщина попросила провести ее к нему и оставить наедине. Через некоторое время она вышла и сказала, что больше пить он не будет. Я не верю во всякое знахарство, но тут так и было: больше отец не пил. А вот еще трагический случай. К тому времени жили они в угловом доме. Там был подвал, сделанный моим дедушкой, о котором я уже упоминала. Люк подвала выходил в комнату. Хотя на двери подвала висел замок, на ночь на люк обычно ставили ведра (“сигнализация”). Вот однажды ночью ведра забренчали. Позвав жившего во флигеле квартиранта, папа начал спускаться через люк в подвал, держа свечу в левой руке и пистолет (он полагался ему, потому что часто носил казенные деньги) в правой. “Осторожно, Данила Максимович, он топором замахнулся!”, - крикнул смотревший через люк вниз квартирант. Папа выстрелил и убил вора. ...Суд вынес оправдательный приговор, но все равно искренне верующий отец переживал всю оставшуюся жизнь. Когда ходил в церковь (а они всей семьей ходили каждое воскресенье и в праздники) ставил свечу “за упокой души”.

В начале февраля 1917 года с ним случился удар. Он умирал дома, говорить не мог. Я стояла около него, он смотрел на меня, и слезы катились: знал, что мне будет плохо без него. Умер он 16 февраля. Через три дня его хоронили. Тогда на городском кладбище из живущих на Корабельной хоронили только дворян. Папин чин дал ему эту привилегию. К тому же у него было несколько орденов (сохранилась его фотография в наградах). Был заказан катафалк, но он не понадобился: народу, несмотря на плохую погоду, пришло очень много. Гроб от самого дома до кладбища несли на руках, а ведь дорога длинная, в подъемах и спусках. Вот так проявилось уважение. Похоронили его недалеко от церкви.

Еще несколько слов о жизни в те годы. Мы считались не бедными, но теперь я понимаю, как нуждались. В городе бывали редко: на катере далеко, а в экипаже дорого. Не ездили не только на Южный берег, но даже в Георгиевский монастырь. Выезд в город за обувью запомнился на всю жизнь как событие. Но одевались мы по городским стандартам (мама шила). А вот рядом жили семейства, где сохранялись деревенские обычаи. Женщины ходили в широких юбках, обязательно поддевалась юбка нижняя. Мерой достатка было две нижних юбки. А мужчины в таких семействах дома ходили в кальсонах. В таком же виде, неся штаны на согнутой в локте руке, гордо шествовали из бани... Но зато женщины в таких семьях были предприимчивее, не полагались только на мужнин заработок.

Когда я подросла, то стала осваивать Корабельную. Мы жили в ее торговой сердцевине, так что наблюдать жизнь можно было прямо от калитки. К тому же уже рано я стала ходить за мелкими покупками, ведь все друг друга знали. Прямо напротив нашего дома по Черниговской располагалась парикмахерская и бакалейная лавка, где нам товары отпускали в кредит (рассчитывались с полочки), на втором этаже жила акушерка. На другом углу (по диагонали) была кондитерская. Там были пирожные и горячий шоколад. Я была там только однажды, когда хозяйка пригласила меня на день рождения ее дочери. Далее по Ополченской была бубличная, там работали турки в красных фесках, потом была чебуречная, аптека, трактир. А на другой стороне — булочная, где выпекали очень вкусный хлеб и далее большой мануфактурный магазин (только этот дом и сохранился пока). На улице тоже торговали. Особенным спросом пользовались сальники (печень с гречневой кашей в оболочке из кишок). Женщины сохраняли их горячими, громко зазывая покупателей. Их особенно охотно покупали идущие на завод рабочие, тем более, что стоили они дешево. Летом торговали также вареной молодой кукурузой.

Она называлась “пшёнка”. Одна торговка, караимка или татарка, кричала особенно громко и всегда одинаково: “Пшёнка чик горяченькай, пшёнка чик молоденькай, пшёнка, пшёнка, пшёнка!”. Помолчит чуть и снова...

А в конце Ополченкой был базар. Каждое утро мы просыпались от скрипа татарских мажар: рынок начинал рано работать и рано кончался (в жару это, конечно, так и надо). На рынке мне были интересны и ослики, и рогатые волы, и весы в виде крюка, которые назывались кантарь. Были магазины и на Базарной (ныне Горького) улице, но я их не помню. А мусорная свалка была на Ополченской перед спуском в Ушакову балку. В будние дни ели простую пищу: кашу, котлеты, строго соблюдали все посты. Зато в праздники ели слишком много. Помню высокие стопки огромных ноздреватых блинов на Масленицу, обильно политых растопленным маслом и сметаной, и высокие куличи на Пасху. В обычной духовке таких не сделаешь, но у нас во дворе была летняя кухня, в которой ещё со времен дедушки Борисова была русская печь. В ней и сами пекли, и соседей пускали испечь. Конечно, ходили в церковь их святить, много делали крашенных яиц. Пасху я любила, а вот Прощеное воскресенье не любила: меня заставляли у всех просить прощения, а я была девочкой послушной и не понимала зачем, что я плохого сделала? Главным развлечением был выход семьей или с соседями в Ушакову балку. Там по воскресеньем играл духовой оркестр, были качели. Я их очень любила, раскачивалась высоко, отчаянно (а была тихая, послушная).

После революции.

Так уж случилось, что все для нашей семьи напасти, связанные со смертями, болезнями, революционной неразберихой, почти нищетой, начались именно после февраля 1917 года. Дело в том, что через неделю после смерти отца из дома вынесли гроб единственного сына, моего брата Николая. Пришло время рассказать и о нем.

Итак, он был единственным, оставшимся в живых сыном. Родился он в канун Рождества 1893 года, всю жизнь чувствовал себя ущемленным, что на его День рождения “пирог всегда постный”. Он был способным мальчиком, учился в Константиновском реальном училище, но потом охладел к учебе, участвовал в Маевках, перестал ходить в церковь, ушел из училища (или был отчислен). Всё это осложнило и без того прохладные отношения с отцом, который больше других любил ласковую, умеющую ластиться и добиваться своего Маню (Коля же за это сестру не любил). Где-то в 1910-м познакомился с Илюшей Богдановым, который был на два года старше, привел его домой. Илья, живший неподалеку в знакомом нам доме Куприяновых, стал близким человеком в нашей семье. Брат рано женился. Как-то пришел к родителям и сказал, что должен жениться, так как “обидел бедную девушку”. Так в доме появилась Нонна (Алексеевна), его молодая жена. Родился у них сын, тоже Николай, мой племянник (единственный). Он был всего на три года младше меня. Работал Николай на складе Морского ведомства, а вечерами занимался всякими рукоделиями: очень художественно выжигал по дереву, рисовал. Часто засиживался далеко за полночь. Мама проснется, увидит свет в его окне, говорит ему: “Спать надо”. А он ей обычно отвечал: “Ой, мама, на том свете выплюсь”. А ведь ему было едва за двадцать. Но он как в воду глядел, потому что вскоре заболел странной болезнью. Когда обратились к врачам, те сказали, что это сифилис и назначили соответствующее лечение. Жена решила, что он её изменял с гулящими, обиделась, отстранилась. Ухаживали за ним мама и сестра Аня. А ему все хуже и хуже, уже все тело гниет. Тут вдруг приехал какой-то знакомый фельдшер. Он сразу сказал, что это отравление свинцом, что такой болезнью болеют типографские рабочие. Оказалось, что на складе, на котором Коля работал, был свинец, а у него в ту пору (перед началом болезни) были трещины на губах (с губ-то и началось).

Спасти Колю уже было нельзя. Он лежал голый, так как всякая одежда прилипла к ранам и давала боль. Когда умер отец, он встал, проводил его в последний путь, но, когда вернулся, одежду пришлось разрезать на кусочки. Путь на кладбище он, разумеется, проделал на линейке (так тогда назывался конный экипаж без крыши), рядом со своим сынишкой; ходить он почти не мог. Тогда я была мала, а теперь без содрогания не могу представить, что же думал, что чувствовал он, глядя в раскрытую могилу, сознавая безнадежность свою и скорый конец. И что чувствовала мама, тоже сознавая, что скоро снова повторит сюда скорбный путь. Ее держала вера в милость Бога (“На все Божья воля”), брат же в Бога не верил... Умер он через неделю, похоронили его рядом с отцом. Его вдова Нонна вскоре вышла замуж за прекрасного человека Михаила Николаевича Шлиппса, который очень любил своего приемного сына. Связь с нашим семейством была у них всю жизнь. Особенно Нонна ценила, что мои родители взяли ее, бесприданницу, в дом и ни разу не попрекнули “грехом”.

А еще через неделю из дома вынесли гроб квартиранта, который был крестным отцом многих детей нашей семьи, с которым сроднились. Так, за месяц благополучный дом стал мертв, так как мама совершенно была убита горем, и все дела поручила Мане, чего делать никак нельзя было. Началась моя сиротская жизнь, причем о сиротстве мне напоминали постоянно: “Ты - сирота, должна молчать и терпеть”, - слышала я от мамы каждодневно. Конечно, если бы жизнь была стабильна, а мама деятельна, то на пусть маленькую, но пенсию плюс свой дом можно было как-то жить, но тогда этот слой себя считал уже выше крестьян, жен матросов, которые разводили огороды, торговали. У нас во дворе не росло даже петрушки — все привыкли покупать. Мама сажала цветы и только. Не было ни винограда, ни плодовых деревьев, хотя на фрукты денег не было даже при папе. Подобное было и в соседних домах, теперь даже не верится. И тут случилась беда с моей сестрой Аней.

Аня была самым близким мне человеком. Увы, судьба ее была незавидной. В восемь лет, уже начав учиться, она заболела менингитом, выжила, но разучилась говорить, так что я, трехлетняя, помогала ей овладеть речью. Но трудные слова она и взрослая не всегда могла выговорить. Наша мама ее жалела, не приучала к хозяйству, так что на меня, шестилетнюю, больше обязанностей по дому было возложено, чем на нее, двенадцатилетнюю. Я должна была и полы вымыть, и вязать (обвязывать белье), и за племянником Колей поглядывать, а она только присутствовала при сем. Учиться вновь пошла когда ей было 11 лет, восьмилетние одноклассники смеялись, когда она неправильно выговаривала, она плакала... В общем, не пошла учеба, хотя арифметике все же обучилась и писала довольно грамотно. Видимо, от природы в ней были заложены способности, потому что, став взрослой, она любила читать и очень хорошо пересказывала прочитанное (целые романы, я так не умела). Любила театр, музыку (больше всего — оперетту, к нам тогда часто приезжали такие труппы, но и серьезную: оперную, симфоническую слушала по радио), любила экскурсии в той мере, в какой это было ей доступно по средствам (она работала потом на заводе табельщицей, но много болела).

Когда умер папа, ей было 16. Она была уже вполне сформировавшейся девушкой (в отличие от меня, беленькой, она была темной, смуглой). Где-то через год к ней посватался: знакомый матрос из севастопольских. Но командующая всем сестра Маня отвергла это предложение, считая нашу семью “благородной”. А потом... Аня стала хиреть, ее тошнило, у нее стал расти живот. Разумеется, к врачу не обратились, а пристали к ней с вопросом: “Кто?”. Невинная, она не могла ничего ответить, ее наказывали, запирали в комнате, истязали вопросами, так что однажды она не выдержала и побежала в балку, к морю топиться (плавать она не умела и воды боялась). Но не решилась (боязнь воды спасла). Вернувшись, на очередное “кто?” назвала своего двоюродного брата

Кузьму. Накинулись на него. К счастью, у него была хорошая, умная жена. Расспросив Аню, она отвела ее к врачу, который тут же определил, что дело в брюшине. У нее оказался гнойный туберкулез брюшины и кишок. Дело было в 1919-м, когда менялись то белые, то красные, власти, считай, не было, не говоря уж о медицинском обслуживании. Операцию делали в Морском госпитале. Чтобы ее оплатить, пришлось продавать последнее: фарфор, постельное белье. Но сделали операцию добросовестно. Ассистировала при операции сестра Михаила Николаевича Шлиппса (о нем я говорила), Ольга Николаевна. Она рассказала нам, что гноя выкачали почти ведро. (Ольга Николаевна Шлиппс после блестящего окончания гимназии — ее выпускной аттестат хранится в Музее героической обороны и освобождения Севастополя - много лет работала в Госпитале, семьи не имела, жила на Корабельной).

И на сей раз Аня осталась жива, но стала еще беспомощней. Когда я выросла, и у меня появился молодой человек, я кругом должна была брать и Аню: это было условие, чтобы меня отпускали. Так и прилепилась она к моей семье, своей не создав. Хотя было еще одно сватовство. На сей раз это был рабочий Вася. Но сестра опять не разрешила (С Васей моей тете Ане довелось почти всю жизнь проработать в одном цеху. Он был женат на другой, имел ребенка, но сохранил к Анне чувство на всю жизнь, даже готов был бросить семью, чтобы с ней соединиться, но Аня не захотела оставить ребенка без отца, зная к тому же свою болезненность и неспособность иметь детей. Когда ее в 1956-м провожали на пенсию, он принес в цех гармонь и сыграл “их” песни. Анна плакала, а никто не понимал — почему. Это она мне рассказала за неделю до смерти в октябре 1980 года - *И.П.*).

Она всего боялась: гололеда и воды, спусков и высоты, и однако ж в войну проявила себя смелой и решительной. Дом на Советской, где она жила, был разрушен еще в конце октября 41-

го, так что она перебралась к нам и эвакуироваться с нами отказалась, говоря, что присматривая за квартирой, она оплатит за добро, которое она от нас видела. Она работала на заводе, там и жила, но часто приходила к нам на Фрунзе и оставалась там даже во время бомбежек. Увы, спасти квартиру было не в ее власти. В 1944-м немцы и ее, несчастную, где-то ниществующую, угнали этапом, но под Днепропетровском наши войска освободили их, и она вернулась в Севастополь. Удивительно, но у нее после войны прекратились припадки, при которых она прежде теряла сознания, и у нее сводило в судороге конечности. Прожила она 79 лет. Я похоронила ее на новом городском кладбище, завещав дочери и меня положить рядом (так и получилось в 2000-м — И.П.).

Теперь еще немного о своей послереволюционной жизни. Учение пришлось оставить в 21-м, так как не в чем было ходить в школу. В доме я выполняла мужскую работу: разбивала уголь, колола дрова, ходила за дровами с соседкой сначала в Троицкую балку, а потом на Инкерманские высоты, к дальнему маяку. Это были не дрова, а корни, ветки, что добудем. Мама считалась старой (хотя ей было 50 с небольшим), Аня — больной, Маня — то работала, то гуляла, к тому ж была красавицей, меняла мужей. В эти годы, когда я была подлинной Золушкой, отдохновением было посещение дома Калашниковых. Зина была верным другом (всю жизнь до самой ее смерти), сестры Таисия и Наталья тоже были приветливы. Особенно мне нравилась их мама тетя Наташа. Она была неграмотной, но любила слушать, когда ей читали. Вечерами, она брала на себя работу девочек, а они за то попеременно ей читали. Я тоже приходила на эти посиделки в их уютную гостиную. С тетей Наташей я совершила свое первое путешествие. Видимо, было в этой незаурядной женщине желание видеть мир, у меня это тоже рано проявилось. И вот однажды она взяла меня на Крестный ход (летом 1917-го или 1918-го). Ее девочки не захотели, а я пошла. Вышли мы со священником, с пением молитвы от церкви

Александра Невского (где здание бани теперь) и пошли через гору в Инкерман, в монастырь. Там нам был приготовлен скромный ужин и ночлег в гостинице. Наутро пошли по долине Черной речки. У деревни Шули (Терновка) нас ждали накрытые столы, вкусный борщ и арбуз. Потом пошли в скит Ай-Тодор, в горное ущелье. Помню небольшую церковь на поляне, а сзади гора. Там отслужили молебен и легли спать прямо в храме на свежем сене. Наутро уже без священников вернулись через Сапун-гору домой.

Раз уж зашла речь о церкви, скажу, что в детстве я верила глубоко и искренне, молилась, терпеливо простаивала всю службу. Любила петь в церковном хоре (спевки устраивались в нижнем этаже колокольни Митрофаньевской церкви). Но, когда мне было 16, я разочаровалась в церкви, так как поп (женатый, разумеется) стал делать мне намеки, причем и на исповеди, и во время службы. Я сказала маме, что больше в церковь не пойду. А так как вокруг уже шла новая жизнь, власть Советская, и говорили, что Бога нет, то я и вовсе разуверилась. Теперь думаю, что Кто-то, возможно, есть в мире, но церковь мне не нужна. Мамину набожность я уважала, а вот сестра Маня и тут была ханжой. Так, она не разрешала мне не только вступить в комсомол, что дало бы мне возможность трудоустроиться, но даже ходить в клуб на Ополченской, где был хор. Объясняла, что там безбожники и развратники, а сама и пила, и меняла мужей. Когда я осмелилась ей про это сказать, она отвечала: “Не согрешишь, не покаешься. Не будь дурой, бери от жизни, все, что можешь, главное, потом помолись, Бог простит”. Она даже заставляла меня пить, но я не поддавалась. Конечно, на ее поведение наложила отпечаток эпоха, когда завтрашний день был неясен. Когда в конце 1917-го в первый раз Советская власть установилась, многие офицеры были расстреляны.. Слухи передавались из дома в дом, ведь стрельба раздавалась за Малаховым. Потом немцы, потом французы, опять красные, опять белые. При Врангеле как-то спокойней стало, но все равно дороговизна ужасная,

деньги всякие, не разберешься. А потом, в ноябре 20-го — паника и отплытие “всех” на всем. После отплытия последнего судна, пошли мы к морю и страшно стало — даже яликов в бухте нет. Правильно сказал о Севастополе конца 20-года в повести “Черное море” К. Паустовский: “мертвый город”. Как жить в нем, таким как мы? А тут пришли красные, и новые страхи. Развесили объявления, что всем военным надо зарегистрироваться. Пошли наши соседи кондуктора, жившие в своих домишках и честно на Черноморский флот работавшие. Пошли и не вернулись... А каких только выдуманных страхов и небылиц не распускалось тогда. Про коммунистов говорили, что они — черти, что у них дети рождаются с хвостиком или рожками, и даже кумушками адреса назывались: “Вот, на Воронцовке (или на Петровке)... сама видела...” и т.д.

В это же время на Корабельной стала проявлять себя одна колоритная фигура - сумашедшая Сара, известная всем в округе как Сара Корабельская. Она родилась неподалеку от Ополченской во вполне нормальной семье. Пока была маленькой, ее удерживали во дворе, но когда выросла, ее уже было не удержать. Чаще всего ее встречали на людном перекрестке у нашего дома, она что-то рассказывала, делилась новостями, иногда связно. Одета была чисто (сестры и мать смотрели), имела хорошую фигуру. Она была, в общем, безобидной, если ее не задирали (мальчишки, конечно, дразнили, тогда она могла кричать бранные слова, запустить камнем). Но в целом к ней относились сочувственно (семье сочувствовали). Живя потом в городе, я редко встречала ее в 30-е годы, но после войны снова увидела ее на Корабельной, на том же углу. Главное в ее рассказах было описание того, как она отказалась в Германию плыть. Когда немцы перед отступлением устроили на Корабельной облаву, она тоже попала на судно. И вот... “Посмотрела я, посмотрела, а потом и говорю: что я — дура что ли, чтобы в Германию ехать, и ушла” (потом вернувшиеся из неволи подтвердили, что так и было, и что часовой у трапа, поняв с

кем имеет дело, ее не задержал). Так Сара оказалась одной из немногих, кто встретил наши войска в этом обескровленном уголке. Эта фраза: “что я — дура, что ли” поднимала ее необычайно в собственных глазах (да и наших тоже). Она даже выпрямилась гордо, хотя ходила тогда в рубище (сестер, что за ней смотрели, не было). Бывает же так. А вскоре Сара пришла на перекресток с сияющим лицом и еще одной новостью. Она в те дни нередко ночевала в склепе на городском кладбище (тогда эти строения были заселены лишившимися своих жилищ севастопольцами). Вдруг среди ночи она проснулась от того, что кто-то вошел в склеп, что-то втащил: “Господи, и здесь покоя нет, - сказала я. Мужики убежали, а утром я увидела, что у входа лежит тюк с вещами. Я пошла в милицию, привела, оказалось, что это были воры”. Вот такая была у нас героическая Сара. Что с ней стало после 48-го, не знаю.

Часто, когда ныне хожу по пустынной Рабочей, вдоль безликой стены нового дома, вспоминаю прежнее оживление и многолюдье ее. И каких только людей не встречалось здесь: русские и украинцы, греки и армяне, немцы, татары, турки. Каждый вносил что-то свое, все ладили. Хотя вообще-то нравы даже у многих вполне нормальных людей были тогда дикие, сейчас, конечно, мы далеко ушли и не ценим этого. По сравнению с Аполлонкой или Воронцовкой собственно Корабельная (улицы Черниговская, Николаевская, Русская, Корабельная, Александра Невского, Ополченская, Ластовая) были почти что аристократическим районом, но и здесь мужья нередко поколачивали жен, так что в утешение беднягам существовала поговорка: “Бьет, значит любит”, Иногда к маме прибегали жены жаловаться. Она их утешала: “Кто здесь страдает, тому на том свете будет хорошо”. А одна соседка как-то в слезах прибежала, рассказывает: “Подаю я мужу обед, а он, если что ни по нем, тотчас смахивает тарелку со стола, уже несколько разбил”. Тут мама сообразила и дала ей совет: “Как он смахнет тарелку, ты возьми из буфета две и кинь на пол”. Она так и

сделала. Приходит потом, смеется: “Остолбенел мой-то, как я бросила, а я говорю, что тебе можно, а мне нет? Больше не бьет вот уж который день”. А вот еще такой курьезный случай вспоминается. Уже упоминаемая жена нашего двоюродного брата была учительницей. Естественно, по тем временам, что она держала кухарку (ведь круглый год готовили на плите). Никак ту было не приучить к чистоте. Однажды у нее заболела и распухла рука. Хозяйка дала денег, чтобы сходить к врачу, и напонила: “Ты вымыть не забудь”. Возвращается горемыка и сама признается: “Доктор-то велел и вторую руку показать, а я только одну вымыла, больную, так он стыдил меня”.

Видя всё это вокруг и решив, что страданий на этом свете с меня хватит, я приняла решение получить ремесло и на последние деньги пошла учиться на курсы кройки и шитья. У меня способности оказались, учительница добросовестная была, в общем, стала я сама зарабатывать. На первые деньги купила себе чулки и пошла вырвала больной зуб. И вовремя стала самостоятельной, ибо сестра, уговорив маму перевести дом на себя, заложила его, залог не внесла, и дом пошел с молотка, едва я сумела оставить за собой мамину швейную машину. Так я, как беженка, лишилась родного дома и последних вещей, даже мебели. Поселились мы с мамой и Аней в подвале на Чесменской (ныне Советской) улице. Окна были на два метра ниже земли. Темнота и сырость — круглый день, а мне надо шить по 16-18 часов в сутки и не дай бог не угодить заказчице. Горько было, на Корабельную не тянуло, да и некогда было.

Так прошло почти шесть лет. В эти годы я даже забросила еще одну свою любовь свою страсть — плавание. Нас никто к морю не водил, но, когда я подросла, очень захотела плавать, ходила с соседями и быстро научилась. В дореволюционные годы было принято купаться в купальнях - домиках на воде. Я их видела у нас в Аполлонке. За плату люди входили туда, раздевались и

плескались. Но я ходила одна в Ушакову балку, плавала, даже при волнах, очень далеко, к бочкам. Подержусь за цепь и назад. Нередко ко мне приплывали дельфины, тыкались в меня. Я их боялась, отгоняла. Тогда же не знали, что они такие умные. Через 40 лет, поселившись на Корабельной уже в другом, близком мне с детства доме на К.Либкнехта (ныне — Н.Лунина), я возобновила ежедневное свидание с морем. Ходила по утрам в Ушакову балку с июня до октября, плавала, но, конечно, не так далеко. Учила там плавать внука, а затем и правнуков, совершала с ними поездки по Крыму (на Карадаг, в Алупку и Алушту, в Евпаторию). Только после восьмидесяти пяти перестала плавать, но смотреть на море все равно любила и люблю. Уже в старости только узнала я поэму Анны Ахматовой “У самого моря”, про ее жизнь в Севастополе:

*В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не снес, не унес бродяга,
И заплывала далеко в море,
На теплых синих волнах качалась...*

Боже, как это про меня той далекой поры!

В 1929 году я стала женой давнего друга нашей семьи Илюши Богданова, того самого, что дружил с моим братом. Несмотря на разницу в возрасте в 16 лет, мы были сходны по вкусам и интересам. Родившаяся в 1932 году наша дочь Ирина еще больше сблизила нас. Но, и живя счастливо в центре, я никогда не могла без боли смотреть на родные стены. Дом уцелел в войну, но при строительстве пятиэтажного строения все три наших дома снесли, как бы стерли память. Но она все равно живет. И, видимо, для того судьба вернула меня на старости на Корабельную, чтоб я рассказала о ней.

Севастополь, ул. Н. Лунина 17,
1995-1999.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Дом на Николаевской (К.Либкнехта, Н.Лунина)	4
Довоенные впечатления	4
Рассказ А.Д.Богдановой о доме на Николаевской	14
Война, после войны	15
Дом на Черниговской (Р. Люксембург)	21
Ранние впечатления	21
Рассказ А. Д. Богдановой о своей семье	23